

Сильна, как смерть, любовь...

Песнь Песней

Часть первая
ГОСУДАРЕВА НЕВЕСТА

Пролог

— *Б*лагословите вести молодых почивать! — выкрикнул Иван Долгоруков, дружка, озорно выкатывая хмельные глаза. — Ох, нет — везти! Благословите везти молодых почивать!

— Благослови Бог! — раздраженно махнул рукой Алексей Григорьевич, посаженный женихов отец. — Вези, чего уж!

Князь Федор неприметно перевел дыхание. Окручивание и пир прошли у Долгоруковых — здесь же следовало молодым почивать. Однако брачное ложе было устроено в старом, заброшенном особняке жениха почти на окраине, на Фонтанке¹, где молодые будут избавлены от докучливых советов, пьяных воплей и глумливых вопросов через дверь в разгар ночи: в добром ли здравии жених. Это было единственное, что князь Федор смог выторговать для себя на свадьбе, которую

¹ Граница Санкт-Петербурга в 20-е гг. XVIII в.

Долгоруковы положили справиться со всем обрядовым русским размахом.

Еще слава богу, что государь Петр, государева сестрица и тетка государева, царевна Елизавета Петровна, почтили только церковное венчание, а не сам пир. Царь-то, может, и не прочь был бы повеселиться подольше, но Елизавета, конечно, его отговорила: она так и не простила Федора, а потому не упускала случая уколоть его... да кабы знала, сколь мало ему в том горя!

И вот они уже в пустом доме. У изголовья широкой кровати с шелковым пологом стояли кади с пшеницею, куда дружка нетвердую рукою воткнул свечу и потянулся к яхонтовым застежкам парчового женихова камзола (оба новобрачных были одеты по-старинному), чтобы помочь молодому раздеться, как предписывал обряд. Пьяненькая сваха возилась с летником невесты, и до князя Федора долетел сердитый шепот Анны: «Осторожнее, косорукая!»

Впрочем, это было чуть не единственное проявление ее норова. Уже раздетая до рубашки, невеста покорно сняла с Федора сапоги. В одном была монета, и Анна спешила туда заглянуть: ведь если ей удастся снять прежде сапог с монетою, значит, ей будет счастье; в противном случае всю жизнь придется угождать мужу и разувать его. Анне не повезло, она даже глухо охнула с досады, и сваха, чувствуя себя отмщенной, радостно подала Федору плетъ, чтобы он запечатлел знак покорности на спине будущей сопутчицы своей жизни.

Он шлепнул легонько, но белые плечики Анны покраснели, задрожали...

— Ну, ложитесь, голуби! — велел Иван Долгоруков, которому скучно сделалось топтаться в сем унылом покое, глядеть на постную, без малого признака

вожделения, физиономию жениха и на худые, полудетские прелести невесты.

— Ну, не оплошай, Феденька! — хохотнул он. — Совет да любовь!

И дверь в покои наконец-то затворилась. Наконец-то новобрачные остались одни...

Князь Федор молчал. Хоть убей, не мог он заставить себя даже слово сказать этой девочке, покорно прилегшей рядом: лежал, вытянувшись в струнку, внешне оцепенелый, мучаясь нетерпеливым ожиданием того, что сейчас предстояло свершить, и не дрогнул, не шелохнулся, когда невеста вдруг всхлипнула рядом с ним — раз и другой, а потом залилась горькими, тихими, безнадежными слезами.

Федор только вздохнул. Ей было бы легче потом, завтра, если бы оставалась хотя бы память о ласках мужа! Жалость грызла его душу! Было жаль Анны, которая принуждена будет долго, если не вовек, влачить муку своего не то девичества, не то вдовства, невольно, как и он сам, сделавшись жертвою жадной мстительности Долгоруковых. Ему было жаль себя, ибо предстоит еще несчетно страданий и горя, прежде чем обретет он покой; жаль этого дома родительского, обреченного скоро превратиться в прах; но пуще всего было ему жаль ту, другую... Далекую, изгнанницу, которая, узнав о случившемся, вдруг заломит руки, ударится о сыру землю, вскрикнет, словно лебедь подстреленная, и никому не будут ведомы ее мука, и смертельная боль, и неизбывная тоска, и одиночество...

Затаив дыхание, Федор вслушался: всхлипываний Анны уже не слышно — спит как убитая, сморенная усталостью бесконечного дня и горькими слезами.

Встал... бесшумно вышел в другую комнату: пустой дом весь полон таинственных шорохов и треска, и снизу уже отчетливо тянет дымом.

Вернулся в опочивальню, взял свечу. О, какое юное, какое сердитое лицо у Анны! Она злится даже во сне. Ну что ж, тем лучше. Тем легче!

— Прощай. Прощай, — едва слышно шепнул князь Федор, поднося свечу к пыльному пологу... и заслонился рукою от облака ярого пламени, взметнувшегося над его головой.

* * *

— Ох, еще слово... словечко еще! Княгиня моя!

— Матушка! Матушка родненькая!

Александр Данилович и Сашенька, младшая дочь его, вновь и вновь припадали к свежезасыпанной могиле. Сын светлейшего, тоже Александр, стоял, согнувшись, поодаль, торопливо крестился, но не кричал — тихонько подвывал, словно телок, лишившийся матери.

И она... та самая! Крюковский, начальник охраны, с опаскою смерил взглядом стройный стан, содрогавшийся от сдавленных рыданий, темно-русую склоненную голову, в отчаянии стиснутые руки...

Крюковский насупился.

— Да полно, Данилыч! Полно, чего толку убиваться? Не воротишь ведь! Да и пора нам двигаться: застоялись лямошные!

«Лямошные» были бурлаки, которые, обрадовавшись малой передышке, лежали на песочке, со скукою поглядывая на пригорок, где только что небрежно опустили в наспех вырытую яму Дарью Михайловну Меншикову, в девичестве Арсеньеву. Не

снесла тягот пути, позора, неизвестности, осиротила мужа и троих детей, которым не дали и оплакать родимую толком — вновь торопили в путь.

Мария глубоко вздохнула, унимая рыдания. Не по матушке, уснувшей в сырой и неприветной казанской земле, плачут все они — по себе! Мать упокоилась, а остальным им страдать еще немерено, страдать, да терпеть, да бессмысленными жалобами донимать небеса, да возбуждать злорадство к себе, павшим с высот ниже низшего!

Мария стиснула плечо брата:

— Смолчи. Утрись! Подыми отца!

Тот глянул было по-волчьи: мол, не ко времени старые замашки вспомнила, государева невеста! — но увидел ее дрожащие губы, все понял, кивнул, пошел к отцу.

Лицо Александра Данилыча расплывалось от безудержных слез вперемешку с раскисшей землею. Сын повел его; Сашенька забежала с другой стороны, обняла; Меншиков еле переставлял непослушные ноги.

— На баржу, на баржу! — замахал Крюковский десятку слуг, сгрудившихся поодаль. Как всегда, один из них — черный, тонкий, что лозина, красивый и угрюмый (имя его, знал Крюковский, было Бахтияр) — шагнул к Марии, но не посмел приблизиться: только ожег черным пылким взором да стал у сходней, чтобы руку подать. «Зря томишься попусту, она тебя, нехрестя, знать не хочет!» — мысленно ухмыльнулся Крюковский — и обернулся, расслышав дальний зов: с крутояра рысил верховой, махал шапкою.

Этого гонца Крюковский ждал давно. Алексей Григорьевич Долгоруков должен был переслать последние указания касательно особы опального князя:

идти по воде до Соли Камской безвыходно с баржи, а там до Тобольска и до Березова; жить там в остроге... Ну, это уж как решит комендант! — а вот и размер содержания, определенный семейству Меншиковых в ссылке: рубль в день на человека («Не больно-то ты расщедрился для бывшего дружка! — про себя усмехнулся Крюковский. — Сахар-то девять с полтиною фунт!»). А вот и новости!

«Задержался указкою сего, — писал князь Долгоруков, — по причине горя, нас постигшего. Племянник мой, сын покойного Григория, Долгоруков Федор, страшную смертью умер в ночь после свадьбы собственной — сгорел в доме; только и успел, что жену молодую в окошко вытолкнул (она до сих пор без памяти), а сам сгорел, и дом, и все добро. Косточки от него остались, что уголья, да и все. Упокой, Господи, душу раба Твоего! Не слушал, бедняга, меня, старика, — вот и претерпел за грехи свои...»

— Слышь, Данилыч, — крикнул начальник стражи, ведомый непонятным желанием хоть в малой малости ободрить своего злосчастливого подопечного, — не тужи! Твоим супротивникам Бог тоже поддает жару! Вон, известие... — Он помахал бумагою. — Алексей Григорыча племянник, Федька, сгиб — сгорел, дотла сгорел! Не только лишь от тебя отнято — от него тоже!

Меншиков, склонившись к борту, вяло перекрестился. Крюковский, досадуя, что новость не вызвала у светлейшего ни капли радости, пошел к сходням, да едва не наткнулся на Марию: она так и стояла у самой воды.

— Сгорел? — звонко, отрывисто переспросила она, глядя на Крюковского огромными, вполлица, темно-серыми глазами.

— Сгорел, сгорел, потешься! — буркнул он. — На их улице, знать, тоже не праздник. Ну, чего стала... стали чего, Марья Александровна? Пошли наверх! — И, отмахнувшись от назойливого Бахтияра, сам подал руку бывшему «высочеству».

Мария была боязлива: Крюковский не раз видел, как она робко, неуклюже сползает по сходням или взбирается на них. Но тут взлетела, не коснувшись опоры, и стала у правого борта, глядя вдаль, на зеленые обширные поля и синюю тень далеких гор.

В стеклянной небесной выси забился жаворонок. Мария вскинула было голову, но зажмурилась от солнца, понурилась над сизо-серою волной.

Бахтияр, по обычаю, стал невдалеке, исподлобья поглядывая на бледное склоненное лицо, на дрожащие ресницы.

«Красота! Вот она, красота-то, что делает, ах, что делает! — с внезапной тоскою в сердце подумал Крюковский. — Умолвит он ее рано, поздно ли, а нет — ссильничает блудным делом, вот и вся недолга. Да мне-то что?!»

И отвернулся, озирая свое хозяйство.

Лямки натянулись; водолив¹ стал на носу, глядит на стрежень; Меншиков прилег под тенью борта; Александр с Александрю притулились рядом. Охрана держится вежливо, однако глаз не спускает. Ну, все в порядке, можно давать знак к отплытию.

Крюковский махнул рукой...

— Э-эх! У-ух! — басом запел водолив.

Судно качнулось, тронулось, пошло на глубину, разворачиваясь поперек течения.

¹ Старший в бурлацкой артели.

— Ах! Ах! Господи! Господи, помилуй! — вдруг раздался тонкий вскрик, и Крюковский, ошеломленно подняв брови, увидел, как тонкая фигура в черном платье переломилась над бортом, свесилась с баржи — и рухнула вниз, в воду.

Взметнулись брызги.

Она! Мария!

Крюковский вцепился в борт, тупо смотрел: темные водоросли распущенных кудрей поплыли по реке, потом медленно пошли вниз, и белое облако взметнувшихся юбок тоже пошло вниз... на дно, в бездну, на смерть!

Глава 1

«БЕЗ ОСЛУШАНИЯ И МОТЧАНИЯ»

*Т*етушка Варвара Михайловна стояла перед племянницей и глядела на нее с такой ненавистью, что Маше было жутко видеть это новое выражение в прежде умильных глазах. Она была ростом гораздо выше горбатой тетушки, и той приходилось закидывать голову, чтобы смотреть в лицо девушке, так что ее черный как вороново крыло тяжелый старомодный парик то и дело съезжал на затылок, выставляя жидкие седые прядки, прилипшие к вспотевшему лбу: тетку от ярости бросило в жар.

— Гордыня! Гордыня демон твой, Марья! Что это ты о себе возомнила, скажи на милость? Чего задираешь нос?!

— Я не задираю нос, — пролепетала Маша. — Напротив, участь сия для меня роскошна чрезмерно.

— Не лукавь! — взвизгнула тетка. — Не лукавь, не прекословь! Из воли родительской не выступишь!

— Батюшка меня неволить не станет, я знаю сие доподлинно! — бросила Маша и сама испугалась своей дерзости.

Варвара Михайловна вдруг грозно замерла перед племянницей: